

✦ Асмодей Денница ✦



Мелен и Луция

КНИГА ПЕРВАЯ
ОГОНЬ И СВЕТ

18+

Асмодей Денница

**ПЕПЕЛ И ЛИЛИЯ. Книга
первая «Огонь и свет»**

«Автор»

2026

Денница А.

ПЕПЕЛ И ЛИЛИЯ. Книга первая «Огонь и свет» / А. Денница — «Автор», 2026

Франция, 1429 год. Страна лежит у ног англичан, надежда гаснет, и кажется, что тьма победила. Но в самое тёмное время является свет — маленькая крестьянская девушка со знаменем в руках, не умеющая воевать, но несущая веру, способную поднять целое королевство. В центре романа — Жиль де Рэ, маршал Франции, богатейший вельможа королевства, человек, носящий в груди пустоту с одиннадцати лет. Он не умел ни верить, ни любить, ни плакать — пока не встретил Жанну д'Арк.. Он становится её щитом, той самой тенью, что встаёт между светом и смертью, готовый отдать за неё всё и саму жизнь. Это история не только о триумфе, но и о том, что происходит с человеком, когда он находит то, что наполняет его пустоту, — и теряет это. Как король отворачивается от света, как преданную Жанну ведут на костёр, как рушится всё, ради чего он жил. И как неумение отпустить и слишком сильная любовь шаг за шагом ведут героя к той черте, за которой начинается тьма.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Мессир де Рэ	17
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Асмодей Денница

ПЕПЕЛ И ЛИЛИЯ. Книга первая «Огонь и свет»

Пролог

«Ибо всякая душа, отринувшая свет, обречена блуждать во тьме, где тени прошлого имеют плоть, а будущее — лишь эхо минувших грехов. И нет для таковой души ни утра, ни вечера, но лишь одна непрерывная, глухая полночь, которая длится до той поры, покуда человек не вспомнит, что свет когда-то смотрел ему в глаза, — и не отведёт взгляда первым.»

Из трактата «О природе зла», гл. XIV

Ночь в Нанте была тёмной, как горло колодца.

Жиль де Рэ лежал на соломенной подстилке, брошенной прямо на каменный пол, и считал удары собственного сердца. Сорок восемь. Сорок девять. Пятьдесят. Сердце стучало ровно, без жалости, как мельничное колесо, которое мелет и мелет один и тот же жёсткий, чёрный хлеб — мысль о том, что завтра всё кончится. Сердцу было всё равно. Оно билось уже тридцать шесть лет, и завтра ему предстояло перестать биться, но сейчас оно не проявляло ни страха, ни радости — только тупое, механическое усердие, с каким живут все живые вещи, покуда им не прикажут умереть.

Жилу сорок был не полон. Тридцать шесть — в октябре минет тридцать семь, только он не увидит этого октября, потому что завтра, на исходе двадцать шестого дня, его повесят на Галльском лугу за воротами Нанта, а затем тело его, ещё тёплое, ещё почти живое, вздёрнут на высокий столп и испепелят, дабы ни одна косточка маршала Франции не нашла приюта в освящённой земле. Таков был приговор. Таков был приговор церкви и таков был приговор людей — самый мягкий из тех, что они могли выдумать, и самый страшный из тех, что он мог им подарить.

Он не боялся смерти. Он был в этом почти уверен.

Страх — вещь хрупкая, как кость птенца. Его ломают в детстве, и если ломают умело, то сросшаяся поломанная кость становится толще прежней, а то и вовсе зарастает так, что человек забывает, где было костное место. Ему сломали всё, что можно было сломать, до того как он научился называть вещи их настоящими именами. Ему раздавили ту часть души, что умеет трепетать перед неизвестным. Осталась одна лишь усталость — старая, вьёвшаяся, как копать в потолок камина, где веками жгли сырое дерево.

И всё-таки этой ночью Жиль де Рэ не спал.

Он ворочался на подстилке, и солома хрустела под ним, и звук этот казался ему оглушительным в мёртвой тишине каземата, а потом он поднимался и ходил из угла в угол, и ноги его были босы, и камень холодил пятки, и он считал шаги. Двенадцать шагов в одну сторону. Двенадцать в другую. Камера была невелика — когда-то в ней держали вино, а теперь держали маршала, и от винной затхлости не избавило даже то, что последнее время в ней не было ничего, кроме воздуха и памяти.

Воздух был тяжёлым, как мокрая шерсть.

Он пах сыростью, пах мышами, пах той сладкой, приторной прелостью, которую источают стены древних постоялых дворов и ещё более древних тюрем — запах, в котором нет ничего злого, но в котором есть такое чужое, такое нечеловеческое постоянство, что поневоле думаешь: этот камень впитывал человеческие запахи сотни лет, и сотни лет он будет отдавать их обратно, и ни одному каменщику не выскоблить их до конца.

Единственная свеча, зажжённая тюремщиком перед уходом — да и то лишь потому, что на исходе его последний барщинный день и он не хотел, чтобы узник тот, который завтра умрёт, оскорбил Господа криком в темноте, — эта свеча догорала.

Она стояла на грубом дубовом чурбане в углу камеры, и воск её был жёлтым, как старая слюда, и пламя её было маленьким и трепетным, и тени, которые оно отбрасывало, плясали на каменных стенах так, как пляшут тени на могильных плитах в вечернем ветре. Чурбан, на котором стояла свеча, Жиль помнил: на нём, как он узнал из слов тюремщика, когда-то держали бочонок с испанским вином, а ещё раньше — колоду, на которой секли провинившихся слуг.

Всё в этой камере замыкалось на его ремесло. Всё пахло вином и кровью.

Он подошёл к стене и провёл пальцами по шершавому камню. Кладка была старой, ещё римской, быть может, — крупные, тёсанные рукой давно умершего мастера глыбы, которые пережили и римлян, и бретонцев, и франков, и англичан, и теперь терпеливо ждали, когда их оставят в покое и они начнут обваливаться от собственной ветхости. Жиль нащупал выпуклый шишак, оставшийся от отколотого блока, и надавил на него пальцем, сильно, до боли, и боль эта была приятна — единственное, что ещё подавало ему какие-то вести из мира живых.

Говорят, мёртвые не чувствуют холода.

Он не был мёртв. Он был ещё слишком жив для того, чтобы не чувствовать всего, что чувствует живой: и холод камня, и жар свечи, и голод, и жажду, и тот сухой, шершавый вкус во рту, который появляется у человека после долгой беседы с самим собой, когда некому ответить. Он разговаривал сам с собой весь вечер. Он говорил о том, что завтра умрёт, — и слышал в ответ из глубины комнаты, из самой тёмной её глубины, только собственное учащённое дыхание.

Иногда ему казалось, что в темноте кто-то есть.

Он не смел повернуться и посмотреть — не от страха, а от той странной, почтительной неохоты, с какой человек боится разрушить взглядом хрупкую возможность того, что он не один. Одиночество — страшная вещь. Но быть одиноким там, где не можешь дотянуться до собеседника, — ещё страшнее. И потому лучше не смотреть. Лучше верить, что в тёмном углу кто-то дышит в такт с тобой, кто-то разделяет твою тишину, кто-то войдёт в эту камеру завтра вместе с тобой и поднимется по ступеням эшафота, разделив и последний твой час.

«Вы снова здесь», — прошептал он, не оборачиваясь.

Темнота не ответила. Но он знал — знал с той невыразимой, бесплотной уверенностью, какая посещает людей накануне великих бед, — что она слышала. Она всегда слышала. И она всегда приходила, когда он оставался один. Много лет она приходила к нему — то в виде дрожащей тени на стене, то в виде холодного дуновения по затылку, то в виде запаха, от которого у него скребли кошки на сердце.

Запаха дыма.

Он сел на чурбан, рядом со свечой, и закрыл глаза, и пламя подмигнуло ему из-под ресниц, и он увидел её.

Она стояла на площади Руана, среди столбов дыма, и огонь лизал её бедные, обугленные ноги, и лицо её — то самое лицо, которое он помнил до последней реснички, до последней веснушки на переносице, до последней трещинки на обветренных губах, — это лицо было обращено к небу, и на нём не было ни боли, ни страха, а было только — он прости ему, Господи, если видит, — было только глубокое, детское удивление: «Так вот как оно заканчивается».

Она думала, что это по-другому.

Она думала — она всегда думала, и в этом было её величие и её рок, — что Господь не оставит её, что в последний миг какой-нибудь ангел спустится с небес и снимет её с этого столба, и она снова пойдёт по земле Франции, и будет помогать людям, и всё, что было наго-

ворено и сделано, сотрётся, как сотрётся копоть, если взять мокрую тряпицу. Она верила. Вера была для неё тем же, чем воздух — для лёгких: она не выбирала верить, она просто верила, как не выбирают дышать.

И небеса молчали.

Они молчали долго — все те месяцы, что её судили в Руане, задавая ей вопросы, на которые не было правильных ответов, загоняя её в ловушки, из которых не было выхода, сжимая вокруг неё петлю из её же собственных слов. Они молчали, и огонь поднимался всё выше, и он, Жиль де Рэ, маршал Франции, стоял в толпе — не в первых рядах, где ему было положено стоять по праву рождения и славы, а последние ряды, за спинами простого народа, в дыму и вони беспорядка, и смотрел, как сгорает свет.

Он опоздал.

Всю свою жизнь он опаздывал. Он опоздал в Руан на день — на один-единственный день, который решал всё, и на этот день он опоздал так непоправимо, что потом не мог заснуть, не вспоминая, куда делись эти сутки. Он собрал отряд. Он двинулся на Руан — не как маршал Франции, у которого были свои люди, свои планы, свои союзники, а как безумец, как одержимый, как человек, у которого отняли то, что он даже не умел назвать, но без чего мир потерял для него всякий смысл. Он собрал всадников, каких мог — сорвиголова, наёмников, обещая им золото из собственной казны, — и помчался к Руану, гоня лошадей до хрипоты, до того, что кони падали и их приходилось оставлять, а он пересаживался на новых и мчался дальше, понимая, что не успевает.

Он не успел.

Он въехал в Руан, когда над площадью Сен-Винсент уже поднимался тот столб дыма, густого, чёрного, удушливого, который нельзя спутать ни с чем, потому что такой дым бывает только от одного костра — костра, на котором жгут то, что жгут только люди, в своём безумии, — и он, Жиль, спешился и побежал, расталкивая народ, крича, размахивая руками, и солдаты узнавали его и расступались, потому что перед маршалом Франции расступаются даже тогда, когда он безумен, а потом он прорвался к ограде, и увидел, и понял, что опоздал навсегда.

Навсегда — это очень долго.

Он стоял, держась за деревянную ограду так, что пальцы его побелели, и смотрел, как огонь поднимается по её платью, по её телу, как пожирает он это маленькое, хрупкое, прекрасное создание, и думал одну единственную мысль, одну тупую, навязчивую, как осиный гуд над ухом: «Я опоздал. Я опоздал. Я опоздал». Мысль эта стучала в висках, отдавалась в ушах, отдавалась в зубах, в самых корнях зубов, и он не мог её остановить, потому что в ней, в этой мысли, было всё — и вина, и горе, и та непоправимость, после которой жизнь уже никогда не будет счастливой, сколько ни крути её, как ни поворачивай.

А потом она умерла.

Он видел, как она умерла. Он видел, как голова её склонилась, как ослабилось тело на столбе, как огонь принял то, что от неё оставалось, и как палач, милосердный перед самим Господом, попросил огонь пощадить её, потому что признал в ней святую, и как огонь, кажется, послушался его — тот град Руана до сих пор хранит память о том, что сердце её не сгорело. Говорят, палач Джордж включил огонь, и сердце Девы осталось целым, и он вынес его из костра, и оно было тёплым и живым, и он не знал, что с ним делать, и закопал его в землю, там же, на площади.

Жиль не видел сердца. Он видел только дым.

Он стоял у ограды, пока костёр не догорел, пока народ не разошёлся, пока стража не начала на него коситься — на господина в дорожных доспехах, забрызганных грязью, с лицом человека, который увидел то, чего видеть было нельзя. Он стоял и думал, что всё кончилось. Что свет угас. Что осталась только тьма — и что эта тьма теперь принадлежит ему одному,

потому что свет, который мог бы её разогнать, сгорел на этой площади, и сгорел навсегда, и никакие молитвы, никакие добрые дела, никакие подвиги не вернут его.

Он чувствовал, как внутри него, в самой глубокой глубине, что-то надламывается.

Не сразу. Не вдруг. Сначала — как трещинка на льду, неслышная, незаметная, невидимая глазом. Потом — как покатилась, пошла по всему льду, широкими, ветвящимися побегами. А потом он почувствовал, что под ледяной коркой, под той вечной мерзлотой, которой он закупорил свою душу ещё в детстве, — подо льдом этим открылась вода, чёрная, тёплая, живая, и вода эта звала его, манила, обещала утопленное забытьё.

Он ещё не знал, что это за вода.

Он узнает потом. Он узнает, когда вернётся в свои земли, когда будет сидеть в залах своего замка Тиффож, самого роскошного, самого грандиозного замка, какой только могли возвести — или, вернее, какого не мог возвести никто, кроме него, потому что только безумная роскошь и безумная щедрость в состоянии были заполнить ту пустоту, ту зияющую, ревущую пустоту, что открылась в нём, когда сгорел свет. Он узнает, что вода эта — жажда. Первобытная, ненасытная, неутолимая жажда того, чего уже нет. И что он будет пить из этой реки, и пить, и пить, и не напьётся никогда.

В ту ночь в Руане он ещё ничего не знал.

Он просто стоял и смотрел, как догорает костёр, — и, быть может, впервые в жизни в нём умерло что-то, что не воскреснет никогда. Умерла, быть может, последняя способность любить. Умерла способность верить. Умерла способность жалеть. А на их месте, как на месте срубленного леса, пошла в рост другая поросль — быстрая, чёрная, безрассудная, та, что растёт там, где больше никогда не взойдёт солнце.

— Вы не спите, мессир.

Голос был тихим и мягким, как прикосновение к больной голове, и Жиль вздрогнул, потому что не слышал шагов. Он обернулся.

В дверях стояла тень.

Нет — не та тень, которую он ждал из тёмного угла, а тень живая, тёплая, человеческая. В полумраке камеры Жиль различил невысокую фигуру в рясе — в рясе из грубой, некрашеной шерсти, какую носят бедные монахи нищенствующих орденов, — и лицо, которое пришлось постоять в темноте, чтобы рассмотреть: немолодое, усталое, с редкими седыми волосами и пронизательными глазами, в которых горел тот тихий, ровный огонь, какой загорается у людей, привыкших смотреть в чужие души.

За его спиной, в коридоре, Жиль услышал голос тюремщика — низкий, недовольный:

— Пять минут. Не больше. Если епископ узнает, что я пустил сюда этого... — тюремщик сплюнул, — ...мне не сносить головы.

— Епископ узнает, — мягко, но с такой странной уверенностью проговорил монах, — и епископ поблагодарит тебя, сын мой. Ибо милосердие выше порядка.

— Милосердие выше порядка, — проворчал тюремщик, — говорите это завтра палачу.

Монах не ответил. Дверь за ним затворилась — с тем тяжёлым, окончательным лязгом, какой имеют только тюремные двери, — и они остались вдвоём.

Жиль не встал с чурбана. Он смотрел на монаха снизу вверх, и что-то в его облике, в его усталости, в его глазах было ему знакомо — смутно, на самой дальней периферии памяти, как знакомо бывает лицо человека, которого видел однажды и не запомнил, но чей облик оставил зарубку где-то в глубине.

— Ты откуда? — спросил он. Голос его был глух, сорван, как у человека, который долго кричал.

— Из Нанта, мессир. Из монастыря целестинцев.

— И чего тебе надобно в моей камере в последний мой вечер?

Монах сделал шаг вперёд, к свету свечи, и теперь Жиль видел его ясно. Лицо было иссечено морщинами, как старая географическая карта, и каждая морщина, казалось, хранила память о подвиге или о грехе. В руках монах держал небольшой деревянный крест — грубый, топорно выструганный, из некрашеного дуба, какие бывают у бедных, у тех, кто не может купить серебро. Крест этот был старый — потёртый, с отполированными пальцами тысяч прикосновений, и Жиль вдруг подумал, что этот грубый крест повидал больше молитв, чем иные соборные распятия.

— Меня прислал брат Жувенель, — сказал монах. — Он просил передать вам, что будет молиться за вас всю ночь.

Жиль усмехнулся.

Сухо, трескуче, как смеётся человек, у которого давно пересохло в горле. Усмешка эта вышла не злой и не насмешливой — она вышла горькой, усталой, как будто Жиль усмехался не над монахом, а над самим собой, над своей судьбой, над всей этой трагедией, которая к полуночи уже успела приесться ему, как приедается любое страдание, если тянуть его слишком долго.

— Брат Жувенель слишком добр, — сказал он. — Я не заслуживаю его молитв.

— Все заслуживают молитв, мессир. Даже те, кто считает себя недостойным. Особенно те, кто считает себя недостойным.

— Ты так полагаешь?

— Я это знаю. Молитва — не награда за добродетель. Молитва — это лекарство для больных. И если доктор подаёт лекарство только здоровым, он не доктор, а могильщик.

Жиль долго смотрел на него. Потом встал — неловко, опираясь на колено, потому что ноги затекли от долгого сидения на холодном чурбане, — и сделал шаг навстречу, и встал перед монахом вплотную, так что между ними было не больше ладони.

Он был высок. Церковь, двор, армия привыкли к его росту — к тому, как он, маршал Франции, возвышается над толпой, как держит голову, как смотрит сверху вниз. И сейчас, стоя перед этим маленьким, сморщенным, выпцветшим монахом, он чувствовал, как его собственная высота давит ему на плечи — как будто весь рост его, вся его статность были не достоинством, а обвинением.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он тихо.

— Знаю, мессир. Вы Жиль де Рэ, барон де Рэ, сеньор де Машекуль и де Тиффож, маршал Франции, некогда прозванный храбрейшим из храбрых.

— И что меня казнили...

— Завтра, — кивнул монах. — Завтра вас повесят и сожгут.

— За убийство.

— За убийства, — мягко поправил монах. — Во множественном числе.

Жиль смотрел на него, и в глазах его плясал огонёк свечи.

— За убийство скольких, ты знаешь?

— Суд назвал число. Но число — это лишь число, мессир. Бог считает не головы, а души. И каждая душа, отнятая вами, — это целый мир, который вы отняли у мира.

— Сто сорок, — сказал Жиль. — Я сам назвал их суду. Сто сорок детей. Не знаю, точно ли сто сорок. Может быть, больше. Может быть, меньше. Когда их много, они сливаются, сбиваются в одну тёмную массу, как... как стая. Как стая воробьёв в осенний день. Ты не считаешь воробьёв, когда они вспархивают.

Он сказал это просто, почти буднично, и сам ужаснулся собственной будничности. Ибо вся правда его греха была в том, что он произнёс это — это страшное, это чудовищное признание — ровным, спокойным голосом человека, который давно перестал удивляться себе.

Монах не вздрогнул. Монах не отшатнулся. Он смотрел на Жилья в упор, и в глазах его была не жалость и не ужас — а что-то иное, что-то твёрдое и спокойное, как сама вечность.

— Вы произносили это признание на суде, — сказал он. — Вы произносили его, и люди слушали вас, и кровь застыла в их жилах. А теперь вы произнесли его мне, в тёмной камере, наедине с одной свечой. Скажите, мессир, какая из этих двух исповедей тяжелее?

Жиль опустил глаза.

— На суде, — проговорил он после долгой паузы, — я хотел произвести впечатление. Я хотел, чтобы они ужаснулись. Я упивался их ужасом, как вином. Это было... это было как оргия. Ты понимаешь? Толпа, взвизгивающая на чудовище, — это лучшая оргия, какую только может испытать чудовище. Они смотрели на меня, и по их лицам я видел себя — огромного, злого, всесильного. И я любил это чувство. Мне было... мне было отранно.

Он замолчал.

В камере было тихо. Слышно было, как потрескивает свеча, как дышит монах, как где-то далеко, за толщей стен, воет ночной пёс. Жиль смотрел на свои руки — на большие, сильные, красивые руки барона, на испачканные ногти, на ссадины, оставленные ежедневным трением о камень, — и думал о том, что этими руками он держал меч, и держал бразды правления, и сжимал чашу с вином, и гладил по голове обречённого ребёнка.

Боже.

Он подумал об этом — «Боже» — и сам не понял, прозвучало это внутри него как молитва или как проклятие. В тридцать шесть лет, за одну ночь до казни, он впервые за многие годы вспомнил Бога не как имя, а как присутствие — как то, что, быть может, смотрит на него сейчас из глаз этого маленького, измученного монаха.

— Я убил больше, — сказал он внезапно, и голос его дрогнул. — Я сказал сто сорок, потому что столько успел сосчитать, столько помнил по именам, по голосам, по лицам. Но было больше. Гораздо больше. Иногда... иногда я терял счёт. Иногда я не помнил, сколько уже принесли. Ты думаешь, я лгу? Я не лгу. Я убивал так много, так часто, что убийство перестало быть событием. Оно стало привычкой. Оно стало — не поверю, что говорю это вслух, — оно стало ремеслом, как ремесло палача или мясника. Только палач казнит по приговору, а мясник — скот. А я... я убивал потому, что не мог не убивать.

Монах слушал, не перебивая.

— Почему? — спросил он тихо, когда Жиль замолчал. — Зачем вы это делали?

Это был самый страшный вопрос — и Жиль знал это. Все остальные вопросы — сколько, как, когда, где — были вопросами судьи, собирающего факты. Этот вопрос был вопросом исповедника, пытающегося понять душу. И на этот вопрос Жиль не умел ответить даже самому себе.

Он долго молчал, глядя на пламя свечи.

— Когда я был молод, — заговорил он наконец, медленно, как будто вытаскивая слова из самых недр своего естества, — когда я был молод, я думал, что величайшее наслаждение на свете — быть сильным. Иметь власть. Видеть, как люди трепещут перед тобой. Меня так учили. Дед мой, Жан де Краон, — он сделал из меня мужчину, — он говорил: «Сила — единственное, что имеет значение. Тот, кто сильнее, всегда прав. Тот, кто сильнее, всегда побеждает». И я поверил. Я впитал эту веру с молоком... нет, не с молоком, с кровью, с самой кровью, с уроками, с порками, с той жестокой нежностью, какой дед лепил из меня наследника. Он лепил из меня чудовище. Он не хотел сделать чудовище — он хотел сделать сильного человека. Но между сильным человеком и чудовищем — один шаг, и шаг этот он не умел предусмотреть.

Монах сделал шаг вперёд, и Жиль почувствовал на себе его тёплое, почти отцовское прикосновение — рука монаха легла на его плечо. Она была лёгкой, этой руки, и твёрдой, и в прикосновении её не было ни брезгливости, ни страха.

— Мессир, — сказал монах, — завтра вы предстанете перед Господом. Я не дерзну судить, что ждёт вас там, ибо суд Божий милосерднее суда человеческого и человеку не дано

измерить его глубину. Но я пришёл спросить вас не о том, что вы сделали. Я пришёл спросить вас вот о чём: жалеете ли вы о содеянном?

Жиль посмотрел ему в глаза. Долго. Пристально. Так, как смотрят на то, что решает всё.

— Жалею? — переспросил он.

— Да. Раскаиваетесь ли вы? Жаждет ли ваша душа прощения?

И тогда Жиль де Рэ — маршал Франции, убийца, чудовище, человек, который тридцать шесть лет носил в груди поломанную, перекрученную душу, — сделал то, чего не делал никогда. Он заплакал.

Сначала это были не слёзы, а судорога — сухой, спазматический хрип, раздирающий горло. Потом сквозь него прорвалось что-то глухое, низкое, похожее на звериный вой. А потом слёзы хлынули — первые слёзы, первые настоящие слёзы с тех пор, как в одиннадцать лет он узнал, что отец его убит при Азенкуре, и дед научил его не плакать потому, что «слабым не место среди живых».

Он плакал, и плечи его тряслись, и весь его огромный рост, вся его стать сжималась, как сжимается тень, когда гаснет свет. Он плакал о себе, и о Жанне, и о тех детях, о тех бесчисленных, безымянных детях, чьи лица он не мог вспомнить, но чьи голоса слышал теперь, в эту последнюю ночь, отчётливо — будто они стояли у него за спиной, будто ждали только его признания, чтобы уйти или остаться.

— Я хочу, — прорыдал он, — я хочу... я хочу, чтобы они простили меня. Чтобы хоть кто-нибудь простил. Чтобы хоть одно из этих лиц не смотрело на меня с тем...

Он не договорил. Рука монаха стиснула его плечо крепче.

— Тогда прости себя сам, — сказал монах. — Ибо ни Христос, ни люди не могут дать тебе того, что ты отказываешься дать себе самому. Пока ты видишь себя чудовищем, ты будешь чудовищем. Но скажи мне: если Господь простит тебя, сможешь ли ты принять это прощение?

Жиль поднял на него мокрые глаза.

— Я не знаю, — прошептал он. — Я не знаю, кто я. Чудовище, притворяющееся человеком? Или человек, ставший чудовищем? Я не могу вспомнить, где кончается одно и начинается другое. Я всю жизнь носил в себе что-то тёмное. Я чувствовал его с детства — терпкий, сладкий вкус на языке, когда смотрел, как режут скот. Я убил первую овцу и почувствовал наслаждение. Я убил коня и плакал, но не от жалости, а от того, что понял: мне нравится. Мне нравится, как кровь стекает с лезвия, как тело обмякает, как холодеет кожа. Я носил это в себе, как носят в себе семя гнили, и я ждал, когда оно прорастёт.

Он сделал глубокий вдох, как человек, который собирается нырнуть.

— А потом я увидел Жанну.

Он произнёс это имя — и в камере словно что-то дрогнуло. Свеча на секунду пригнулась, как под ветерком. Монах не шелохнулся, но Жиль почувствовал, как изменился воздух между ними — как будто в камеру, вместе с этим именем, вошло что-то, что не имеет ни светлой, ни тёмной природы, но имеет природу священную, а священное всегда страшно.

— Она была... — Жиль замолчал, подбирая слова. Слова были маленькими, грубыми, недостойными её. Он всегда знал это. — Она была светом. Ты не видел её, ты не знаешь. Она была маленькой, хрупкой, крестьянской девчонкой из Домреми, которая услышала голоса святых и пошла спасать Францию. И когда она вошла в зал Шинона, когда я увидел её впервые — я понял, что я всю свою жизнь искал именно это. Не женщину. Не невесту. Не тело. А то, что в ней горело. То, что она носила в себе и раздавала всем вокруг, не скудея. Чистоту. Благодать. Свет. Я не знаю, как это называется. Но я знаю, что когда она была рядом, что-то во мне — то самое тёмное, то самое чёрное семя — стихало. Как стихает собака, когда слышит голос хозяина. Она могла усмирить меня одним взглядом. Одним словом. Одним прикосновением края её платья.

Он говорил, и голос его становился тише, и в голосе его было то, чего не было никогда прежде, — благоговение.

— Я любил её, — сказал он. — Не как мужчина любит женщину — я никогда не желал её тела, не оскорбляй меня мыслью, что я осквернил её даже в помысле, — а как... как тьма любит свет. Как утопленник любит воздух. Как больной любит исцеление. Она несла в себе то, чем я не мог стать, и я знал, что не могу стать, но рядом с ней я хотя бы видел, куда идти. Она была моим ориентиром. Моей звездой. Моей единственной чистой мыслью во всей этой грязи.

— И она умерла, — тихо сказал монах.

— Она умерла, — повторил Жиль. — Её сожгли. Её сожгли в Руане, а я опоздал. Я всегда опаздывал. Я всю жизнь опаздывал за ней на шаг — шаг, который отделяет того, кто спасает, от того, кто смотрит. И когда она сгорела, свет угас. И в темноте, которая настала после неё...

Он замолчал. Он не мог сказать это вслух. Или мог? Он уже сказал так много — всё, что можно сказать, — что не произнести этого последнего признания было бы малодушием.

— В темноте, которая настала после неё, — договорил он, и голос его был страшен, — я стал искать свет. Я искал его в золоте, и не нашёл. Я искал его в алхимии, в тайных науках, в вызове духов, и не нашёл. Я искал его в крови — в крови детей, в их чистоте, в их невинности, в том, что они ещё не успели испачкать себя грехом. Я думал — слышишь ли, чудовище, — я думал, что если я возьму достаточно чистой крови, если я сложу её воедино, как складывают философский камень из золота, то я смогу... смогу вернуть её. Смогу собрать свет обратно. Смогу воскресить из пепла то, что у меня отняли.

Он поднял голову, и в глазах его, мокрых от слёз, горел тот страшный, безумный огонь, который когда-то заставлял креститься женщин и отводить взгляды мужчин.

— Я искал Жанну в детях, — сказал он. — Ты понимаешь? Я искал её в их глазах, в их доверчивости, в их чистоте. Я хотел выпить её свет из их крови. Я хотел вернуть себе то, что сгорело в Руане. И вместо этого я находил только... только кровь. Только смерть. Только пустоту. Я убивал их, а свет не возвращался. И с каждым убитым мне становилось хуже, и я убивал ещё, чтобы заглушить боль от того, что убил, — и так без конца. Без дна. Без надежды.

Он опустился на чурбан, обессиленный, как человек, из которого вынули все кости.

— Вот мой грех, — сказал он. — Не в том, что я убил сто сорок детей. Господь простит сто сорок убийств скорее, чем я прошу себе одно. Мой грех в том, что я не смог удержать в руках свет, который был мне дан. Я разменял его. Я променял его на кровь и золото. Я ношу в груди пустоту там, где у других людей бьётся сердце, и я не знаю, чем её заполнить. Я не знаю, существует ли прощение для такого, как я. И я не знаю, заслуживаю ли я его.

Свеча догорела.

Пламя задрожало в последний раз, метнулось, облизало оплывший воск, и умерло, оставив в камере только темноту — густую, тёплую, почти живую. И в этой темноте Жиль услышал дыхание монаха — ровное, спокойное, как дыхание человека, который молился всю жизнь и привык к тому, что Бог отвечает ему тишиной.

— Зажги свечу, — сказал он. — Я хочу видеть твоё лицо, когда ты скажешь мне то, что хочешь сказать.

— Свечей больше нет, мессир. Я принёс с собой только это.

Сухой, деревянный щелчок — и в темноте вспыхнул огонёк поменьше прежнего, слабый, дрожащий. Монах держал не свечу, а маленький обрубок воска, сунутый в грубый деревянный подсвечник. Его лицо выплыло из мрака — усталое, доброе, освещённое снизу, как лицо святого на старых иконах.

— Мессир, — сказал он, — я не пришёл судить вас. Я не пришёл решать, достойны вы прощения или нет. Я пришёл сказать вам лишь одно, и в этом прошу вас поверить мне, как поверил бы умирающий врачу. Ни один человек, каким бы великим преступником он ни был, не находится вне досягаемости милосердия Божия. Я не знаю, что ждёт вас завтра у Господа.

Но я знаю одно: если вы умерли с отчаянием на душе, считая себя проклятым и непрощённым, — то вы умерли для вечности зря. Смирение — это не слабость. Покаяние — это не унижение. И то, что вы сейчас заплакали, — это не малодушие. Это — начало. Единственное начало, которое вам дано.

Жиль сидел на чурбане, сгорбившись, и смотрел на монаха, и в груди его, там, где он носил пустоту, что-то шевельнулось — слабо, робко, как шевелится в весенней земле новая жизнь, когда ещё не сошёл снег.

— Я убью из тебя святого, — прошептал он с горькой усмешкой. — Я, маршал Франции, чудовище, в последнюю ночь перед казнью обращаю служанку одного-единственного доброго человека.

— Нет, мессир. Это вы у меня учитесь умирать. Ибо из всех ваших тридцати шести лет жизни вы ни разу не умирали по-настоящему. А завтра вам предстоит умереть дважды — телом и, если пожелаете, грехом. И если вы сумеете умереть, простив себя, — вы перестанете быть чудовищем. Вы станете человеком. Просто человеком. А большего от вас никто не требует.

В камере снова стало тихо.

Жиль смотрел на монаха, и что-то происходило с ним — что-то, чему он не мог дать имени и чему не было места в его опыте. Он чувствовал, как из него отступает та чёрная вода, которая открылась в нём в ночь гибели Жанны. Она не исчезала — о, нет, она никуда не исчезла, она всё ещё была там, глубоко, — но теперь он видел её, видел её со стороны, как видит кораблекрушение уцелевший, стоящий на берегу.

И впервые за тридцать шесть лет Жиль де Рэ подумал: быть может, я могу быть другим. Быть может, я могу выбрать.

Он не досказал эту мысль. Он так никогда её и не доскажет — не потому, что не успел, а потому что мысль эта была слишком велика и слишком нова для него, и у него было слишком мало времени, чтобы сжиться с ней, чтобы принять её, чтобы поверить в неё. Монах оставил ему крест — тот самый, грубый, дубовый — и ушёл перед рассветом, и дверь за ним затворилась, и Жиль остался один в темноте, сжимая в руке тёплого дерева и слушая, как бьётся его сердце.

Сорок девять. Пятьдесят. Пятьдесят одно.

Сердце стучало ровно. Сердцу было всё равно. Но Жиль впервые за долгие годы смотрел на темноту своей камеры без страха — потому что теперь он знал: темнота эта не пуста. В ней есть он, и есть то, что он с собой делает, и есть выбор, который он ещё может сделать, даже на пороге смерти.

Рассвета он не увидел. Но он услышал его — как слышат рассвет люди, которые всю ночь не смыкали глаз: по голосам за стеной, по звону, по шагам стражников, по тому, как становятся не так густы и непроглядны тени.

Наступало его последнее утро.

— Простите меня, — прошептал он в темноту, обращаясь не к монаху, не к Богу, а к тем безымянным лицам, которые всю ночь стояли у него за спиной и, быть может, всё ещё стояли. — Простите меня, дети. И если можете — подождите меня там. Там, где свет.

И в темноте ему почудилось — или не почудилось? — что кто-то ответил ему.

Тихо. Нежно. Многоголосо.

Как будто сто сорок маленьких голосов разом прошептали:

— Мы ждали. Мы всегда ждали.

А где-то далеко от Нанта, в тишине руин Тиффожского замка, того самого замка, который некогда был самым роскошным во всей Франции и от которого ныне остались лишь

голые, обглоданные временем стены, — ветер шептал его имя. Он пролетал сквозь пустые окна, сквозь обрушившиеся залы, сквозь ту башню, где когда-то стояло кресло и где ныне росла горькая трава, и шептал: «Жиль. Жиль де Рэ».

И казалось, что в этом шепоте слышны голоса детей — смеющиеся, радостные голоса, не злые и не мстительные, а такие, какими бывают голоса детей, играющих в летний день. Будто они не проклинали его имя, а звали его — звали обратно, звали домой, звали туда, где ему, быть может, было бы прощено больше, чем он смел просить.

Будто они всегда ждали.

Будто они ждут и сейчас.

В эту последнюю ночь в камере Жиль де Рэ не спал ни минуты.

Он не мог спать — не от страха, как уже было сказано, а потому, что последние его часы на земле были слишком насыщены для сна. Он хотел запомнить эти часы. Он хотел прожить их до конца, каждую минуту, каждый вздох, каждое биение сердца — потому что других минут, других вздохов, других биений у него уже не будет.

Он знал, что это — последняя его ночь.

Он знал, что на рассвете придут за ним. Что поведут его по холодным коридорам Нантского замка, мимо стражников, что будут смотреть на него с тем смешанным чувством — со страхом, с отвращением, с любопытством, — какое испытывают люди, глядя на того, кто перешагнул все пределы, какие только можно перешагнуть. Что выведут его за ворота, на Галльский луг, где уже соберётся толпа — толпа, жаждущая зрелища, ошупывающая его взглядами, обсуждающая, прикидывающая, сколько же таких, как он, прошло уже перед её глазами.

Он знал, что его повесят. Повесят — и сожгут. Сожгут, как сожгли её полтора десятилетия назад, в Руане.

Мысль эта — мысль о том, что его сожгут, как сожгли её, — не отпускала его всю ночь. И в ней, в этой мысли, было столько мучительной справедливости, было столько того, что он, быть может, и сам, где-то в глубине своей выжженной души, давно уже заслужил, — что он не пытался от неё отмахнуться.

Огонь.

Он всю жизнь носил огонь в себе — огонь той страшной, всепожирающей пустоты, что сожгла его изнутри задолго до того, как зажгли костёр, — и теперь этот огонь, вырвавшийся наружу, должен был довершить то, что началось много лет назад.

Он не боялся огня.

Странно, но истинно: он не боялся огня. Он боялся лишь одного — того, что встретит её в том мире, к которому идёт. Он боялся встретиться с ней — с той, которую любил больше всего на свете, — с глазами, полными того упрёка, того разочарования, того невысказанного «как ты мог», перед которым не устоит никакое оправдание.

Он думал о ней — о Жанне.

Он думал о ней всю ночь — не как о святой, не как о той, кому он поклонялся, а как о человеке, как о той, кто когда-то, давным-давно, протянула ему руку и сказала: «Позвольте мне помочь вам вспомнить». Он думал о её тёмных, ясных глазах, в которых не было лжи. Он думал о её тёплой, тихой улыбке. Он думал о её словах — о тех словах, что он так долго не мог забыть и которые теперь, в эту последнюю ночь, возвращались к нему с той отчётливой ясностью, с какой возвращается к утопающему вся его жизнь.

«Вам не обязательно быть сильным, со мной. Вы можете быть просто собой».

Просто собой.

Если бы он мог быть просто собой. Если бы он знал, кем он является на самом деле, — тем, что было под доспехом, — быть может, всё пошло бы иначе. Быть может, он не стал бы тем, чем стал. Быть может, он не сломался бы так, как сломался, когда свет погас.

Но он не знал, кем он был.

Он так долго носил этот доспех, что тот сросся с ним. Он так долго был сильным — тем, кто не показывает слабость, кто не плачет, кто не просит прощения, — что забыл, каково это, — быть просто человеком.

И когда свет погас — когда её не стало, — он не умел жить иначе, как только падать. Он не умел горевать — не умел так, как умеют горевать люди, у которых есть душа, есть вера, есть та внутренняя опора, что удерживает их на краю пропасти. Он не умел просить о помощи. Он не умел принять помощь. Он умел только одно — страдать, молча, по-звериному, — и искать выход из этой муки, как ищет выхода затравленный зверь.

И он нашёл этот выход.

Страшный.

Непоправимый.

Тот, за который его вешают и сожгут на рассвете.

Он закрыл глаза. В темноте камеры, за собственными веками, он увидел её лицо — то самое, каким оно было в последний раз, когда он видел её живой. Оно не было укоризненным. Оно не было гневным. Оно было — печальным. Печальным той глубокой, всепонимающей печалью, какая бывает у людей, которые видят, как гибнет тот, кого они любили, и не в силах ничего изменить.

— Прости меня, — прошептал он в темноту, и на этот раз слова эти были обращены не к детям, не к Богу, а к ней. — Прости меня, Жанна. Я не сумел. Я не сумел быть тем, кем ты хотела мне помочь стать. Я не сумел удержать свет. Я уронил его. Я потерял его. И вся моя жизнь с тех пор — это падение, которому нет конца.

Темнота не ответила ему.

Но Жилю почудилось — или не почудилось? — что в глубине этой темноты, за гранью, которую не переступить живым, кто-то вздохнул. Тихо. Почти нежно. Тот тихий, почти нежный вздох, каким вздыхают, прощая человека, которого уже нельзя спасти, но которого ещё можно пожалеть.

И на душе у него стало легче.

Не стало легче — нет, так не будет никогда, — но стало легче. Стало чуть менее тяжело, чем было. Из той чёрной, липкой, всепоглощающей пустоты, что давила на него, выпало что-то — то, что было тяжелее всего, — тяжесть его собственного, вечного, себя не прощавшего взгляда на себя.

Он не смог бы объяснить, что именно произошло с ним в эту минуту.

Он знал только, что впервые за очень долгое время он перестал быть — чудовищем.

Он стал — просто человеком. Сломанным, но человеком. Грешным, но человеком. Тем, кто, быть может, и заслуживает таких мук — но тем, кому, быть может, всё же, по неисповедимой милости Творца, было бы даровано хоть немного покоя там, за пределом.

Он не просил прощения.

Он только — впервые за всю свою жизнь — позволил себе быть прощённым.

И это — это-то и было настоящим началом.

Утро пришло незаметно.

Сначала серое, предрассветное, такое, каким приходит утро в тюрьмах, — не с солнцем, а с той торопливой деловитостью, с какой собираются палачи и стражники, занимаются службы, звенят ключи. Потом — более светлое, более гулкое, с голосами на улице, с топотом ног, с тем нарастающим глухим шумом, каким полнится площадь перед зрелищем.

Жиль слышал всё это.

Он сидел на своём чурбане, уже одетый — в то простое, серое платье кающегося, в какое его облачили накануне, готовя к позору, — и ждал. Он не молился — он разучился молиться,

— но он был спокоен. Спокойствием тем особенным, какое снисходит на человека, который сделал всё, что мог, и которому больше нечего делать.

В дверях загремел замок.

И в камеру, на рассвете, вошли не стражники, а священник — тот самый, что приходил ночью, — и с ним ещё двое в тёмных рясах, и лицо у них было такое, какое бывает у людей, совершающих долг, тяжелее которого нет.

— Мессир, — сказал тот, что приходил ночью, и голос его, тихий и твёрдый, был лишён и тени торжества, — нам надлежит идти.

Жиль поднялся.

Он не был высок в этот миг — высоко держал он голову в дни славы, а теперь, в сером платье кающегося, на пороге позорной смерти, он был просто-напросто человеком — сломанным, грешным, идущим на казнь. Но в глазах его не было страха. Не было отчаяния. Была только та тихая, глубокая грусть, какая бывает у людей, которые знают, что идут навстречу тому, что давно уже написано в их судьбе.

— Я готов, — сказал он. — Ведите.

Он сделал шаг к двери — и остановился, обернувшись на миг, назад, в тёмную глубину камеры, где догорела свеча и где всю ночь, быть может, стояли те, чьи голоса он так и не смог забыть.

— Идемте, — сказал он тихо, не то себе, не то им. — Идёмте. Мы идём домой.

И он шагнул за порог — в тот свет, который, быть может, ждал его там, за гранью, — в тот свет, которого он так долго искал в этом мире и не нашёл, но который, как он смутно, смутно надеялся, — который, быть может, всё-таки есть там, по ту сторону огня.

Прощай, земля.

Прощай, свет.

Прощай, Жанна.

Я иду.

Глава 1. Мессир де Рэ

«Тот, кто много имеет, воистину нищ, ибо богатство — самая тяжкая из цепей, что мы плетём собственными руками.»

Бозций, «Утешение философией»

Зима тысяча четыреста двадцать девятого года легла на Шинон тяжело, как одеяло из мокрого войлока.

Замок, взобравшийся на скалу над слиянием Вьенны и Луары, был в январских туманах, и туманы эти не были похожи на те лёгкие, жемчужные дымки, что встают по осени над рекой. Нет. Эти туманы были сырыми, серыми, плотными, как рыхлый снег, и они наваливались на башни со стороны реки, заползали в бойницы, закутывали двор такой мокрой, зябкой ватой, что у стражников ломило кости и немели пальцы на древках алебард.

Франция умирала — медленно, мучительно, как умирают империи, не желающие признать, что они уже мертвы.

За восемь лет, прошедших со дня Азенкура, страна распалась на куски. Север был английский, и в Париже, в самом сердце королевства, сидел малолетний Генрих VI, на которого его регенты — дядюшки, жаждущие власти, — навешивали ярлыки короля Франции и Англии. Юг был свой, французский, но свой юг был разодран, разобран, обесцвечен так, что сам не верил в собственную жизнь. Карл, которого одни называли претендентом, а другие — *de facto* королём, ютился в Бурже и в Шиноне, в городах, что ещё признавали его, и каждую зиму у него становилось на одну провинцию, на один город, на одну крепость меньше. Сокровищница его была тоща, как пёс после зимы, и люди его — а лучше сказать, люди, что ещё называли себя его людьми, — разбегались при первом же треске костей армии.

Англичане не брали Париж — они им владели. Англичане не завоёвывали Францию — они её доедали. Кусок за куском, город за городом, урожай за урожаем, они паслись на её полях, и по всей стране, от Нормандии до Луары, тянулись за их армиями обозы с добром, с зерном, с золотом, с невольниками — и тянулись за ними, как тень, чёрные столбы дыма от сожжённых деревень.

В этой стране, в этой гниющей, разорённой стране, был человек, которому было всё равно.

Человек этот стоял сейчас у окна в верхнем покое Шинонского замка и смотрел на туман, нависающий над Вьенной. Он был высок — так высок, что в дверных проёмах ему приходилось слегка наклонять голову, хотя проёмы эти были высоки, как ворота. Он был молод — ему шёл двадцать пятый год, в марте исполнится двадцать пять, — но в облике его не было ничего от молодости. Плечи, развернутые широко, как у человека, привыкшего нести вес доспехов и вес власти, — эти плечи, казалось, давили ему на шею. Лицо его, чисто выбритое в подражание последней парижской моде — хотя к какой моде могло склоняться сердце, жившее в Шиноне, — было красиво той тяжелой, мужской красотой, которую нельзя назвать приятной и невозможно назвать безобразной: смуглое, с резкими, будто вытесанными тёслом чертами, с прямым, длинным носом и узкими, плотно сжатыми губами, за которыми прятались зубы, привыкшие сжиматься в решимости.

Глаза его были странного цвета.

Цвета нельзя было назвать сразу — они то казались серыми, то тёмно-голубыми, как осеннее небо перед дождём, то почти чёрными, и в них не было ни света, ни ласки, ни даже обычного человеческого равнодушия — в них была какая-то пустота, какая бывает у глаз человека, который долго смотрел на такие вещи, что память о них выжгла изнутри ярче всякого пламени.

Это был Жиль де Рэ, барон де Рэ, сеньор де Машекуль и де Тиффож, а также — что куда важнее для всех, кто смотрел на него в этом зале, — самый богатый человек королевства.

Он стоял у окна, опираясь на подоконник ладонью, и не видел ни тумана, ни реки, ни приземистых силуэтов деревень, утонувших в дымке. Он видел — вернее, не видел ничего. Мысли его были далеко, в тех чёрных, тёплых глубинах, куда он уходил, когда ему надоедало быть маршалом, бароном, наследником, богачом, то есть — когда ему надоедало жить.

За его спиной, в низком, прокопчённом зале, гудел двор.

Двор — это слово, которым он обозначал тех, кто называл себя его приближёнными, — был пёстрым и многоголосым. Здесь были советники, надеявшиеся — напрасно — на его золото; были рыцари, напрасно искавшие в нём предводителя; были наложницы, напрасно старавшиеся поймать его взгляд; были шуты, напрасно развлекавшие его; были священники, напрасно читавшие ему мораль. Весь этот люд, всё это пёстрое, тёплое, жужжащее стадо, — он знал, — все они были здесь не ради него. Ради его золота. Ради его имени. Ради того, чем он владел, — а не ради того, кем он был.

Он был ничем. Он знал это.

Он знал это с тех пор, как в одиннадцать лет, стоя во дворе замка Шантосе, узнал, что отец его убит при Азенкуре, а мать — мать он почти не помнил, она умерла за семь месяцев до отца, от той медленной, изнурительной хвори, которую никакое золото не могло купировать, — тоже мертва. Он знал это с тех пор, как дед его, старый железный Жан де Краон, взял его за плечо и сказал: «Ты теперь единственный наследник. Ты должен быть сильным».

Он был сильным. Он стал сильным. Он сделался самым сильным, самым богатым, самым влиятельным человеком в королевстве, где не осталось почти никакого влияния, кроме влияния того, кто платит. И при этом — что странно, что невыносимо — он не стал ничем. Он остался тем же одиноким, переполненным пустотой мальчиком, который стоял во дворе замка и смотрел, как хоронят его отца.

Пустота.

Он носил её в себе так долго, что привык к ней, как привыкают к шраму, как привыкают к постоянной, тупой боли в суставах, о которой вспоминаешь только когда она исчезает. Пустота была его сущностью. Она была всем, что он имел. Она не давила на него — она была им. Он не замечал её, как не замечает рыба рыбьего запаха, как не замечает человек биения собственного сердца — до тех пор, пока сердце не сбивается с ритма.

Сегодня сердце его сбивалось.

Не от того, что он слышал о Деве. О Деве — о той, что явилась к королю, о той, что называет себя посланницей Божьей, о той, что обещает снять осаду с Орлеана, — он слышал уже не в первый раз. Слухи ползли по Франции, быстрые, жадные, как муравьи по сладкому, и в каждом городе их рассказывали по-своему: в одних — с насмешкой, в других — со страхом, в третьих — с той отчаянной, последней надеждой, какую цепляет утопающий. Жиль слышал их все и ни одной не верил. Он давно разучился верить. Вера — та же кость: её ломают в детстве, и человек, оставшийся без неё, живёт иной жизнью — жизнью без опоры, без света, без того тёплого, глупого, прекрасного чувства, которое слабее разума, но сильнее мира.

Нет, сердце его сбивалось не из-за Девы.

Оно сбивалось из-за того, что сегодня, в этот понедельник, на исходе зимы, он должен был войти в зал, где ему предстояло решить, что делать с собственной жизнью.

— Мессир.

Голос был тихим и осторожным, как шаг по тонкому льду. Жиль не обернулся. Он знал этот голос — он знал все голоса в своей свите.

— Мессир, совет ждёт.

Жиль помолчал, глядя в туман.

— Пусть ждёт, — сказал он. — Советы — это то, что умеет ждать. Дольше, чем всё остальное на свете.

Человек за его спиной не ушёл. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и Жиль чувствовал его беспокойство, как чувствуют беспокойство лошади, почуявшей волка. Это был его управляющий — низкий, суетливый человечек с вечно влажными от пота ладонями, которых так много разводится вокруг больших состояний в беспокойные времена.

— Но, мессир, — управляющий осмелился. — Вы сами созвали совет. Вы сказали сегодня утром — вы сказали, что вам нужно... что вам нужно подумать.

— Я и думаю.

— Но совет... люди проделали долгий путь...

— Пусть проделают обратный.

Управляющий попятился, бубня извинения, и Жиль услышал, как затворилась дверь. Он остался один — один, как был один всю свою жизнь, — и снова уставился на туман, и туман, тёмный и медленный, покачивался перед ним, как поверхность чёрной воды.

Что ему делать?

Вопрос, который он задавал себе уже долгие недели, вернулся к нему снова, назойливый, как муха. Он — маршал Франции. Он — человек, которому король, загнанный в угол, поручил командование войсками. Он — богач, способный снарядить армию, которую не в состоянии выставить всё королевство. И вот — эта Дева. Та самая, что пришла к Карлу в Бурж, а теперь прибыла — вернее, вот-вот прибудет — в Шинон, где её будут испытывать, допрашивать, решать, посланница она Божья или безумная крестьянская девка, заслуживающая костра.

Он должен был решить, что с ней делать.

Король — слабый, колеблющийся, запуганный Карл, — явно ждал от него, маршала, совета. Двор был расколот: одни видели в Деве дар небес, другие — дьявольскую приманку, третьи — просто удобный способ избавиться от надоевшей резни. И все они, все до единого, смотрели на него, на Жилия де Рэ, как на того, кто решит.

Жилу было всё равно.

Он не верил ни в чудеса, ни в Деве, ни в то, что Францию вообще можно спасти. Франция была трупом, и труп этот смердил, и любая армия, любое чудо, любая посланница Божья не воскресили бы его — потому что не воскресает то, что сгнило до костей. Он видел Францию. Он видел её поля, вытопанные войной, её города, сожжённые дотла, её детей, умирающих от голода у обочин, — он видел всё это так близко, так часто, что утратил способность ужасаться, а вместе с ней и способность надеяться.

Он стоял у окна и думал, что, быть может, проще всего было бы пустить всё прахом.

Продать всё. Уехать куда-нибудь — в империю, в Италию, на восток, туда, где не знают его имени, — и там медленно, спокойно, бесславно окончить свои дни в полной, ненарушаемой пустоте. Он знал, что это возможно. Он знал, что в его распоряжении — состояния, хватило бы на десять жизней, на десять войн, на десять королевств. Он знал, что он — свободный человек, свободнее всех в этом замке, свободнее самого короля, и что никакая власть не в силах заставить его сделать то, чего он не хочет.

И всё же он не уходил.

Что-то держало его. Что-то — непонятное, необъяснимое, — что-то, что было сильнее его смерти. Инстинкт спокойствия, сильнее его пустоты, сильнее его отказа от всего, — что-то, что имело отношение к имени Франция, к имени Орлеан, к имени — нет, он не хотел даже мысленно произносить его.

Имя это жгло.

«Жанна», — произнёс он мысленно, и слово это было солёным на вкус, как первая кровь из укушенной губы. «Жанна-пастушка. Жанна-дева. Жанна, которая говорит, что слышит голоса святых. Жанна, которая обещает спасти Орлеан».

Он не верил. Он не мог верить. Пустота, которую он носил в груди, отказывалась слышать о чуде. И всё же что-то в нём — не голос разума, не голос веры, а что-то более древнее, более глубокое, то, что сидело в нём до деда, до отца, до пустоты, до самой его смертной плоти, — это что-то трепетало.

Не трепетало надеждой. Нет.

Трепетало так, как трепещет водная гладь, когда по ней проходит лёгкое дуновение, — как трепещет человек, который всю жизнь шёл в темноте и вдруг, на краю обрыва, услышал звук, в котором ему почудился голос.

«А вдруг?»

Мысль эта была опасной. Он знал, что она опасна — что она опаснее любой веры, опаснее любой надежды, потому что разочарование убивает сильнее, чем отсутствие ожиданий. Он всю жизнь остерегался думать «а вдруг». Мысль «а вдруг» была той трещиной во льду, через которую могла пролиться вода — чёрная, тёплая, зовущая, — вода, в которой он мог утонуть, как тонули все, кто позволил себе надеяться в этой гниющей стране.

Он прогнал мысль. Он прогнал её, как всегда прогонял, — с той натужной, почти физической силой, какая требуется, чтобы задвинуть тяжёлую плиту на могилу. Мысль отступила, но оставила в нём на миг осадок — тёплый, зыбкий, как отблеск света на дне колодца, — и отблеск этот, осадок этот остался в нём, помимо его воли.

Он повернулся к туману спиной и пошёл к совету.

Зал, где собрался совет, был низким и длинным, как трюм корабля.

Стены его были увешаны коврами — не столько для красоты, сколько против холода, который зимой пронимал сквозь камень, точно сквозь редкую рогожу. Ковры были старые, выцветшие, с вытканными сценами охоты и осады — вытканными, быть может, тридцать лет назад, когда в этих стенах ещё водились деньги на новые. Посредине зала, под низким, прокопчённым сводом, стоял длинный дубовый стол, истесанный, истрёсанный, с вьёвшимися в поры дерева пятнами от кубков и ножей.

За столом сидели они.

Совет — люди, которые, по мнению короля и по мнению самих себя, должны были решить судьбу Франции. Человек двенадцать или пятнадцать, в мехах и в простом сукне, в бархате и в залатанной кольчуге, — собравшиеся, как всегда бывает при дворах слабых государей, разношёрстная компания из тех, кто остался по убеждению, и тех, кто остался от безысходности.

Жиль увидел их всех сразу — одним долгим, спокойным взглядом, каким смотрит человек, привыкший выхватывать из толпы то, что ему нужно.

Дюнуа по прозванию Бастард. Внебрачный сын герцога Орлеанского, воин, каких мало, — человек, умевший превращать поражение в победу и побеждать там, где другие видели только гибель. Он сидел напротив, длинный, смуглый, с тёмными кругами под глазами — последние месяцы осады Орлеана выжали его, — и смотрел на Жилья взглядом человека, который пришёл не говорить, а требовать.

Рено де Шартр, канцлер. Человек, сделанный не из кожи и костей, а из компромиссов и полутонов, умевший говорить так, что одно и то же слово могло значить и «да», и «нет», и «посмотрим». Он сидел по правую руку от председательского места, сложив на животе пухлые руки, и на лице его было то терпеливое, всепрощающее выражение, с каким взирают на безнадежную глупость, когда торгуют с ней.

Жорж де ла Тремуай, фаворит короля. Невысокий, коренастый, с жадными маленькими глазами и кистями рук, которые всё время будто что-то перебирали — монеты, бумаги, чужие судьбы. Он был мозгом двора — тёмным, расчётливым мозгом человека, который служил не Франции и не королю, а самому себе, и который видел в Деве не избавительницу, а угрозу своему влиянию.

И ещё Иоланда Арагонская, королева-мать, — единственная женщина в этом мужском собрании, и единственная, пожалуй, в нём, кто хоть сколько-нибудь верил в то, что Францию можно спасти. Старая, негибаемая, с лицом, иссечённым морщинами, как горный склон — трещинами, она смотрела на собравшихся с той хладнокровной, почти презрительной уверенностью, какая бывает у людей, которые прожили долгую жизнь и насмотрелись на глупость сильных мира сего.

Жиль вошёл — и комната дрогнула.

Физически, на секунду, изменилось что-то в воздухе. Разговоры стихли сами собой — не потому, что его боялись (хотя боялись его многие), а потому, что его присутствие всегда, неизбежно, обрывало разговоры. Он был слишком велик, слишком молчалив, слишком непроходим, чтобы в его присутствии люди чувствовали себя уютно. Он приносил с собой — сам того не замечая — не холод, нет, а какую-то тяжесть, какой-то груз молчания, под которым словам становилось тесно.

Он сел во главе стола — не потому, что ему было положено это место, а потому, что привык, — и обвёл собравшихся взглядом.

— Ну что ж, — сказал он. — Совет ждёт. Говорите.

Рено де Шартр откашлялся. Он умел начинать, этот человек, — начинать так, что его легко можно было бы не слушать, и притом говорить то, что было ему выгодно.

— Мессир маршал, — произнёс он своим мягким, текучим голосом, — сообщение, что пришло от брата Ангеррана из Буржа, — это сообщение... как бы это сказать... необычайное. Дева, что желает говорить с королём, прибывает сюда, в Шинон. Король — да будет благословен Господь, что послал нам столь благочестивого государя, — изволил распорядиться, чтобы ей был оказан приём. И однако же...

— И однако же, — перебила Иоланда Арагонская, и голос её был сух, как стук костяшек, — мы должны решить, не ославиться ли нам приёмом безумной или, что хуже, пособницы дьявола. Вот что говорит нам канцлер, не смея сказать прямо.

— Я бы не сказал так категорично, — промолвил канцлер, холодея, — я бы позволил себе предположить, что осмотрительность...

— Осмотрительность, — снова перебила королева-мать, — уже обошлась нам в Орлеан.

В зале повисла тишина. Назвать это имя при де Рэ было всё равно что вспугнуть стаю ворон: имя «Орлеан» было тем местом, где все слова превращались в обвинения. Орлеан, осаждённый англичанами уже шестой месяц, Орлеан — последний город на Луаре, державшийся за короля, — Орлеан медленно, но неуклонно умирал. И все, кто сидел за этим столом, знали: если Орлеан падёт, англичане переправятся через Луару, замкнут клещи на юге, и Франции — той Франции, ради которой они ещё называли себя людьми, — наступит конец.

— Орлеан, — сказал Жиль ровно, и слово это прозвучало в его устах тяжело, как булыжник, брошенный в воду, — Орлеан падёт, если мы не дадим ему ничего, кроме осмотрительности. Я спрашиваю совет: что мы можем дать Орлеану? У нас нет армии. У нас нет денег. У нас нет продовольствия, чтобы прорвать осаду. У нас есть только Дева — девка с севера, которая говорит, что слышит голоса. И вы хотите, чтобы я решал, верить ли ей?

— Именно, — сказала королева-мать. — Мы хотим, чтобы ты, мессир де Рэ, решил — потому что ты единственный, кто может решить, кого выставить против тех, кто осаждает Орлеан. Твоё золото, твои люди, твоё имя — вот армия, которой у нас нет. Вопрос лишь в том, под чьими знамёнами она пойдёт: под знамёнами Девы или под знамёнами отчаяния.

Жиль долго смотрел на неё.

Он уважал её. Он не любил её — он вообще никого не любил, — но он уважал Иоланду Арагонскую, потому что она была единственной, кто говорил ему правду, не лавируя, не расстилаясь, не торгуясь. Она не просила его о милости. Она требовала от него, маршала Франции, того, что ему было положено делать по его званию.

— Я не верю в её голоса, — сказал он. — Я не верю ни в какие голоса. Я не слышу голосов с тех пор, как перестал верить настолько, чтобы их услышать.

— Но ты позволишь ей говорить, — сказала королева-мать. — Ты позволишь ей войти и сказать, что она хочет сказать, прежде чем решить.

— Позволю, — сказал Жиль. — Из любопытства. Любопытство — это единственное, что у меня осталось, что ещё способно разгореться.

Он встал.

— Пусть Дева войдёт, — сказал он, обращаясь к слуге, что стоял у дверей, и голос его был ровен, как поверхность тёмной воды. — Пусть войдёт, и мы посмотрим, что это за чудо, прежде чем решать, верить ему или резать ему горло.

Что-то пронеслось по залу — шёпот, движение, искра. Ла Тремуй нахмурился, канцлер перекрестился, а Дюнуа, впервые за всё время, поднял взгляд, и в глазах его, усталых, обожжённых войной, зажглось что-то похожее на надежду — или на жажду. Жиль поймал этот взгляд и узнал его. Он был той же природы, что и его собственный трепет у окна, — той запретной, опасной природы, имя которой «а вдруг».

Жиль сел. Он сложил руки на столе — большие, тяжёлые, — и стал ждать, глядя на дверь, за которой должен был появиться свет.

Или — тьма в обличье света.

Дверь отворилась не сразу.

Сначала из-за неё донёсся приглушённый говор — голоса стражников, перестук древков о камень, чей-то повелительный, женский возглас, в котором было столько твёрдости, что стражники, видимо, послушались. Потом дверь распахнулась, и в проёме возникла Она.

Жиль не мог бы сказать потом, что в первую секунду солнечный свет — а как раз в этот миг, впервые за весь туманный день, солнце прорвало серую пелену и ударило в окна зала, — что свет этот залил её и сделал её незримой, подобной видению. Быть может, это был только свет. Быть может, это была только ослепительная вспышка, в которой вся фигура её потеряла очертания, стала чистой, белой, пылающей.

Но Жиль, глядя на неё в этот первый миг, почувствовал, что пустота в груди его — та самая, вековая, затвердевшая, как старая пробка, — пустота эта дрогнула.

Она была маленькой.

Вот что он успел заметить, когда свет улёгся и фигура её обрела плоть. Она была маленькой — на голову, на две головы ниже любого присутствующего в зале мужчины, — хрупкой, как перемётная сума, с худыми, узловатыми, как у подростка, кистями рук, к которым приросла кожаная рукоять посоха. Одежда её была проста до суровости: короткое красное платье мужского покроя, туго опоясанное, поверх которого висел — странно, почти вызывающе — белый плащ, доходивший до колен. На ногах — грубые сапоги для верховой езды, обтёрханные, грязные от дороги. Волосы — чёрные, коротко остриженные по-мужски, забраны назад так, что открывали лицо.

Лицо.

Вот на этом лице Жиль задержался взглядом, и взгляд его, привыкший выхватывать из толпы нужное, за целую жизнь не встречал такого. Оно было не красиво — не той, знакомой, греющей красотой, к какой он привык у женщин своего круга. Оно было иссечено крестьянским загаром, обветрено дорогами; в нём не было белизны, не было бархата, не было того ухоженного сияния, каким светятся лица благородных дам. И всё же в нём было что-то, от чего Жилу стало тесно в груди.

Глаза.

Её глаза — больше, чем глаза, — нет. Её глаза были обычного, тёмного карего цвета, такие, каких тысячи, — и в то же время необыкновенные, потому что в них, в этих тёмных

крестьянских глазах, горело то, чего Жиль не видел ни в одних глазах за всю свою пустую жизнь.

Они горели уверенностью.

Не надменностью, не страстью, не той лихорадочной одержимостью, какая горит в глазах безумцев, — а именно уверенностью, спокойной, непоколебимой, как сама земля, уверенностью человека, который знает, зачем он здесь, и не сомневается ни на мгновение. В глазах её не было ни робости перед этим собранием, ни желания понравиться, ни страха — ничего из того, чем полнятся глаза всякого, кто входит в комнату, где вершится его судьба. Было только одно, ясное и простое: она знала.

Она вошла в зал — вошла не робко и не дерзко, не припадая и не задирая голову, а как входят в дом, где её ждали, — и остановилась на пороге, обводя собравшихся взглядом. И под этим её взглядом — спокойным, ясным, невидящим всех этих мехов и бархатов, всех этих людей и всех этих титулов, — зал, огромный зал, наполненный самым могущественным человеком королевства, на миг почувствовал себя толпой.

Они были никем. Она была — вся.

И Жиль де Рэ, богатейший человек Франции, маршал, барон, человек с пустотой вместо сердца, почувствовал, как пустота его — впервые за двадцать пять лет — заполнилась чем-то, чему он не знал имени, но что было горячим и живым, как кровь.

— Мессир, — сказала она, и голос её был не громок, но столь ясен, что прозвучал в каждом углу зала, — меня зовут Жанна. Жанна из Домреми. Я пришла поговорить с вами — с вами, мессир де Рэ, — потому что люди сказали мне, что вы решаете, как быть со мной.

Она сделала шаг вперёд — один-единственный шаг, и этого было достаточно, чтобы весь зал ощутил движение воздуха.

— Так выслушайте меня, — сказала она. — Прежде чем решать, верить мне или резать мне горло. Ибо я пришла не просить за себя. Я пришла просить за Францию — которая умирает, и которую, с Божьей помощью и с вашей помощью, мессир де Рэ, я спасу.

И она остановилась, глядя на него, — и в тёмных глазах её, твёрдых и ясных, как лезвие меча, Жиль де Рэ впервые за долгие годы увидел то, что прогнал от себя всякий раз, когда оно появлялось на краю его души.

Он увидел «а вдруг».

Тёплое. Живое. Нестерпимое.

Он увидел его — и не смог прогнать.

Зал молчал.

Молчал так, как молчат залы, когда в них входит нечто большее, чем люди, — когда в них входит судьба или безумие. Дюнуа подался вперёд, и глаза его блеснули. Иоланда Арагонская чуть заметно улыбнулась — впервые за весь вечер, — а Ла Тремуй нахмурился глубже, и пальцы его забегали по столу быстрее, перебирая невидимые монеты.

Жиль де Рэ смотрел на Жанну. Он смотрел на неё и понимал с той внезапной, обжигающей ясностью, которая снисходит на людей в редкие, неповторимые мгновения, что жизнь его, вся его длинная, пустая, затхлая жизнь, только что переломилась. Переломилась — тихо, без треска, без грохота, как ломается лёд под первым весенним солнцем, — и что-то в нём, что он носил в себе с одиннадцатилетнего возраста, что-то, что он считал мёртвым навсегда, — что-то это шевельнулось и открыло глаза.

Он не знал ещё, что это за чувство.

Он не знал, что оно привяжет его к ней крепче цепей, сильнее любви и гибельнее ненависти. Он не знал, что оно согреет его, вознесёт его, сломает его и бросит в бездну. Он не знал — и слава Богу не знал, — что эта маленькая, загорелая, уверенная в себе крестьянская девушка с тёмными глазами станет той единственной, кому он сможет верить до конца своих дней, и той единственной, чьей смертью его окончательно и навсегда убьёт.

Всё это было впереди. Всё это было — далеко.

А сейчас — сейчас он просто смотрел на неё, на этот свет, вошедший в его тёмный зал, и чувствовал, как пустота его, старая, затвердевшая пустота, рассасывается под её взглядом, как рассасывается ночная тьма на рассвете, — медленно, неохотно, но неуклонно.

— Хорошо, — сказал он, и голос его, впервые за долгие годы, прозвучал не пусто, а как-то иначе, чуть сипло, — хорошо, Жанна из Домреми. Я выслушаю тебя. Я выслушаю тебя до конца.

Он указал ей на место за столом, напротив себя.

— Садись. И расскажи мне, как ты собираешься спасти Францию.

И Жанна, Дева, посланница Божья или самая отчаянная безумица королевства, кивнула и села напротив него, и между ними — маршалом и пастушкой, богачом и нищенкой, тьмой и светом — легло то невидимое, трепетное мерцание, из которого и была соткана вся дальнейшая их судьба.

— Итак, — сказал Жиль, когда она села, и положил перед собой на столе сложенные руки, — ты говоришь, что пришла спасти Францию. Это гордые слова для девушки, которая, судя по всему, не нюхала пороха и не видела ни одного сражения.

— Не нюхала, — согласилась она спокойно. — И не видела. Но я знаю, что такое смерть, мессир. Я видела, как сжигают деревню Домреми соседнюю — как горела она, и как горели в ней люди, и как ветер доносил до нашего порога дым и запах горелого. Я знаю, что такое война, — не по книгам, а по дыму над родной землей.

Она говорила простыми словами. Жиль за свою жизнь слышал много речей — напыщенных, учёных, ледяных, пламенных, — но таких простых слов, произнесённых с такой спокойной силой, он не слышал, быть может, никогда.

— И кто же тебе велит идти спасти Орлеан? — спросил он. — Кто эти голоса, о которых шепчется вся Франция? Уж не молится ли за тебя какой-нибудь жулик-священник, которому тёплое место у трона милее тесной исповедальни?

Она улыбнулась — чуть-чуть, одними уголками губ, и в улыбке этой, лёгкой и горьковатой, не было ни обиды, ни насмешки. Было что-то от терпеливой снисходительности взрослого к ребёнку, который задал глупый, но не злой вопрос.

— Голоса мои, мессир, — сказала она, — не от священника и не от жулика. Они от архангела Михаила, от святой Маргариты и от святой Екатерины. Они приходят ко мне уже три года, с тех пор, как мне исполнилось тринадцать лет, и они говорят мне: «Жанна, дочь Божия, иди в Бурж, к королю Франции, и сними осаду с Орлеана, и отведи его на коронацию в Реймс». Так они сказали мне. И я пошла.

Произнеси она эти слова с дрожью в голосе, с экзальтацией, с тем лихорадочным блеском, каким сияют глаза одержимых, — Жиль отшатнулся бы и, быть может, велел бы вывести её. Но она произнесла их с той же будничной, незыблемой простотой, с какой крестьянка говорит, что у неё в огороде выросли морковь и репа. Она не защищалась. Она не доказывала. Она просто сообщала факт — и в спокойствии её, в этой лишённой всякой игры простоте, было нечто такое, от чего веяло чем-то большим, чем ложь или правда.

Ложь всегда умоляет о снисхождении. Она — нет.

— Три года, — повторил Жиль. — Три года ты слышишь голоса, и за три года дошла отсюда — до нашей реки — только теперь. Почему так долго?

— Потому что я боялась. — Она сказала это просто, не стыдясь. — Я девушка, мессир. Я умела прясть лён и шить, а не воевать. Когда голоса сказали мне идти, я испугалась. Мне было жаль уходить от матери, от отца, от нашего дома, от всего, что я знала. Я отговаривалась, я придумывала отговорки, я думала: я такая маленькая, такая слабая, что смогу я сделать против войска? И голоса говорили мне снова и снова: «Иди». И в конце концов я пошла. Потому что когда Господь зовёт, мессир, отговариваться вредно.

— И как же ты шла, — спросила Иоланда Арагонская, устремив на неё свой пронзительный взгляд, — девушка, одна, через пол-Франции, где крутятся банды мародёров и где от церкви до церкви не ступить, не опасаясь за жизнь?

— Голоса берегли меня, ваше величество. И люди. Люди помогали мне — не потому, что я умела просить, а потому, что я умела не бояться. А от человека, который не боится, отступают и мародёры, и волки.

— Не боится, — задумчиво повторила королева-мать. — Это интересно, дитя. А смерти ты не боишься?

— Смерти не боюсь, — ответила Жанна. — Я боюсь одного — прогневить Бога, совершив то, что Он повелел мне, не так, как Он этого хочет. А смерти — нет. Смерть — это дверь. Линь за дверью ждёт Он.

В зале стало тихо — так тихо, что слышно было, как трещит лучина в светце. Жиль смотрел на неё, и в груди его, в той старой, залитой пустотой полости, что-то отчётливо, почти болезненно стучало.

Он не мог объяснить себе, что это.

Он повидал много всякой веры — и лицемерной, и фанатичной, и корыстной, и той странной, искренней слепоты, которая горит в глазах отчаявшихся. Он научился не верить ни одной. Он научился видеть в любой вере — то ли дым, то ли приманку, то ли спасительную ложь, которою люди тешат себя перед лицом смерти. И вот теперь маленькая крестьянка сидела перед ним и говорила голоса и про дверь за смертью — говорила так, словно видела за этой дверью что-то, — и он, скептик, циник, человек, выжженный изнутри, чувствовал, как вера её, спокойная и незыблемая, как сама крестьянская земля, омывает его, обтекает, ищет в нём щели, в которые можно просочиться.

Щелей было много.

— Допустим, — сказал он, помолчав, — допустим, что ты не безумна и не лжива. Допустим, ты действительно слышишь то, что ты слышишь. Но как ты собираешься снять осаду с Орлеана? Армии у нас нет, денег у нас нет, а англичане держат город двумя кольцами войска. Что ты сделаешь — поднимешь знамя и попросишь их разойтись?

— Я сделаю то, что велит Господь, — сказала она. — А Господь велит: ведите меня в Орлеан, и я сниму с него осаду. Не силой ваших армий, которые вы отчаялись набрать, и не золотом, которого у вас нет, а верой. Вера сдвигает горы, мессир. А с осады горы снять — куда как проще.

Дюнуа, до сих пор молчавший, с грохотом отодвинул стул и поднялся. Он был высок, этот бастард Орлеанский, и в глазах его, под тёмными от бессонницы кругами, горел нехороший, лихорадочный огонь.

— А я скажу вам, государи мои, — заговорил он, и голос его был хрипл от долгих месяцев осады, — я скажу вам то, что знаю от своих комендантов, от своих людей, от той части моей души, что осталась в Орлеане. Орлеан голодает. Там уже начали есть кошек и крыс, а скоро съедят и то, что хуже крыс, — потому что под голодом и под осадой люди делаются скотами. У нас нет времени ждать, пока мы наберём армию, которой у нас нет. У нас нет времени верить, что англичане уйдут сами, потому что они не уйдут. Мы стоим на пороге того, что через месяц, через два месяца Орлеан падёт. И если эта девчонка с её верой, с её голосами, с её белым знаменем способна хотя бы на один день отвлечь англичан, хотя бы напугать их, хотя бы поднять дух наших умирающих осаждённых — то Бога ради, ведите её в Орлеан. Хуже не будет. Будет только смерть — а смерти нам и так не миновать.

Он посмотрел на Жанну — и Жиль увидел, как эта женщина, эта странная девушка, смотрит на Дюнуа, и как что-то понимается между ними, поверх слов, поверх чинов, поверх всего этого зала.

— Мессир Дюнуа, — тихо сказала она, — не бойтесь. Я не дам Орлеану пасть. Я поведу ваших людей, и мы войдём в город — я войду в него сегодня въездом, ещё до того, как вы поверите, что я умею входить в осаждённые города.

Дюнуа сделал шаг к ней, вглядываясь. Было в нём что-то от человека, который всю жизнь ждал — ждал хоть кого-нибудь, кто сказал бы ему не пустые слова, а то, во что можно поверить.

— Вы войдёте в Орлеан, — медленно повторил он. — Вы, девушка, войдёте в город, который англичане держат в осаде шестой месяц... как?

— Самой верой, мессир. И тем, что Господь не допустит, чтобы город этот пал без последней попытки. Соберите людей, дайте мне коня и знамя, и я войду.

В зале заговорили разом — все разом, гудя, перебивая друг друга. Канцлер перекрестился, бормоча что-то про испытание духа. Ла Тремуй покачал головой, и на лице его было написано брезгливое недоверие человека, для которого вся эта «вера» была не более чем досадным препятствием на пути к выгодной сделке. Иоланда Арагонская молчала, глядя на Жанну, и в глазах её старых, морщинистых, было что-то от жалости и от пронизательности разом.

А Жиль де Рэ сидел, не отрывая взгляда от маленькой фигуры напротив, и слышал не их — слышал биение собственного сердца, которое, кажется, впервые за двадцать пять лет колотилось не от страха, не от злости, не от скуки, а от чего-то иного, чему он не умел дать имя.

Он слышал слово «вера» — и понимал, что забыл его значение.

Он слышал слово «Орлеан» — и понимал, что ему было всё равно на Орлеан.

Он слышал слово «Франция» — и понимал, что Франция для него давно была не матерью, а гниющей вдовой, которой уже не помочь.

Но он смотрел на неё — на эту девушку, которая, по её словам, собиралась спасти то, что он давно счёл мёртвым, — и чувствовал, как мёртвое в нём самом, в самых его недрах, начинает трепетать.

Что-то в ней было.

Что-то — он не мог определить, что, — что-то, чего не было ни в одном человеке, которого он знал. Не красота, не ум, не сила, не храбрость. Быть может — целостность. Быть может — святость в том древнем, простом смысле, какой вкладывают в это слово люди, не научившиеся лицемерить. Быть может — то, что древние греки называли «душой» — то самое, чего не хватало ему всю его жизнь и от чего он так и не смог отрастить себе хоть клочок.

Она была цельной.

Он — разбитым. Он был разбит на тысячи осколков ещё в одиннадцать лет, во дворе замка Шантосе, и за всё последующее время он так и не сумел — да и не пытался — собрать себя воедино. Он носил в себе черепки, и черепки эти звенели, и звон этот он, быть может, и называл внутренней пустотой.

Она была цельной. И от цельности её, от этой недостижимой, необъяснимой цельности, от этого покоя, от этой твёрдости — от всего этого на Жиль де Рэ веяло светом. Не тем солнечным светом, что наконец пробился в окна зала, и не тем свечным, и не тем, что горит в очаге, а каким-то иным, внутренним, незримым светом, который не увидишь глазами, но который чувствуешь за версту — так чувствуют тепло, не доходя до костра.

И Жиль впервые за долгие годы захотел подойти к этому костру.

Захотел — и испугался. Испугался того, что, быть может, обожжётся; испугался того, что, быть может, свет, к которому он тянется, окажется обманом, подделкой, тем же дымом, какой он видел сотни раз; испугался того, что если он поверит, а она — она, эта девчонка, — окажется лгуньей, то это вновь разобьёт его, как разбивал его каждый раз, когда он позволял себе думать «а вдруг».

И всё-таки он поднялся.

Все разом замолчали, потому что маршал Франции поднялся из-за стола, и поднятие это, обычно будничное, сейчас показалось всем исполненным значения — будто поднялся не человек, а целая судьба, готовая свершиться.

Жиль обошел стол. Он подошёл к Жанне и встал перед ней — огромный, в своём мехе и сукне, заслоняя её свет, — и посмотрел на неё сверху вниз. Она смотрела на него снизу — спокойно, не отводя взгляда, — и в глазах её, темно-карих, твёрдых, было то же самое: не страх, не робость, а чистая, незамутнённая уверенность.

— Жанна из Домреми, — сказал Жиль, — мне плевать на Орлеан. Мне плевать на короля, на Францию, на все эти рубежи, ради которых гибнут люди, уже не помнящие, за что они гибнут. Я не верю в голоса. Я не верю в чудеса. Я не верю — извини меня, — я не верю почти ни во что, кроме силы, которая мне дана и которая мне не принесла ничего, кроме пустоты.

Он сделал паузу. В зале было так тихо, что слышно было его дыхание.

— Но тебя я хочу испытать. Лично. Я хочу увидеть своими глазами, что ты не безумна, не лжива и не вредна Франции. Ты говоришь, что слышишь голоса святых. Я хочу услышать, как ты говоришь о них, без того, чтобы каждый, кто это слышит, решал, верить ему или резать тебе горло. Расскажи мне, Жанна из Домреми, — Расскажи мне, что ты видишь, когда закрываешь глаза и слышишь свой голос. И я — маршал Франции, богатейший человек в этом королевстве, — я выслушаю тебя до конца и решу, следовать ли за тобой.

Она долго смотрела на него.

И в глазах её, твёрдых и ясных, мелькнуло что-то — не страх, не торжество, не смущение. Мелькнула, быть может, жалость. Та самая жалость, какая бывает у человека, который видит другого, несущего на плечах непосильную ношу, и понимает, что не в силах снять её, но может хотя бы пойти рядом.

— Хорошо, мессир, — сказала она. — Я расскажу вам. Но не для того, чтобы вы поверили мне. А для того, чтобы вы поверили в себя.

Жиль не понял последних слов. Он только почувствовал, как они, простые и странные, проникают ему под кожу, как вода проникает сквозь поры глиняного горшка.

— В себя? — переспросил он.

— В себя, — повторила она. — Потому что Франции нужен не тот, кто поверит в меня. Франции нужен тот, кто поверит в себя — достаточно для того, чтобы пойти до конца. А вы, мессир де Рэ, вы верите в себя так мало, что ищите веру где-то на стороне — в деньгах, в власти, в золоте, в чужих чудесах. Я вижу это по вашему лицу.

Зал ахнул.

Никто не смел говорить с маршалом Франции таким тоном. Никто не смел указывать богатейшему человеку королевства на его пустоту. Никто — но эта маленькая девушка с тёмными глазами стояла перед ним, не дрогнув, и говорила ему правду, которую он сам носил в себе и боялся признать.

И Жиль — Жиль де Рэ, человек, который не позволял никому приближаться к себе, — вдруг почувствовал, что не сердится.

Он чувствовал, как что-то — тяжелое, застарелое, вечное — медленно отпускает его грудь. Как будто эта девушка, одним своим простым словом, коснулась той цепи, которую он носил всю жизнь, — и цепь, дрогнув, начала распадаться.

— Расскажи мне, — повторил он тихо, и в голосе его, впервые за весь вечер, не было ни издевки, ни холода, а было только что-то усталое и почти умоляющее. — Расскажи мне о своих голосах. И, быть может... быть может, я найду в них то, что искал.

Жанна кивнула. И в полутьме прокопчённого зала, под низким сводом, среди мехов и бархатов, среди могущественных и разгромленных, она начала рассказывать — тем простым,

крестьянским голосом, каким рассказывают о чудесах не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы поделиться, — и Жиль слушал.

Он слушал, и впервые за долгие годы он слушал не пусто.

Он слушал — и что-то в нём, что он считал разбитым навсегда, начинало потихоньку, с трудом, как срастается переломленная кость, — начинало срастаться.

В ту ночь Жиль не спал.

Он не спал, как не спал уже много ночей, но эта ночь была непохожа на другие. В другие ночи он лежал в темноте, глядя в потолок, и пустота его, давняя и привычная, тянулась перед ним, как ровная, бесконечная дорога. В эту же ночь пустота его была не ровной. В ней что-то клокотало, что-то трепетало, что-то — он боялся даже назвать это словом — что-то надеялось.

Он вспоминал её. Вспоминал каждое её слово, каждый жест, каждый поворот её тёмной головы, каждую улыбку, чуть тронувшую уголки губ. Он вспоминал, как она говорила о своих голосах — не как безумица, не как лгунья, а как человек, для которого небо открыто, для которого вера — не утешение и не прибежище, а сама жизнь, воздух, которым она дышит.

И он, глядя на свои руки, лежащие поверх одеяла, — на эти большие, сильные руки барона, привыкшие сжимать меч и кошель, — он думал: «А если это правда? А если она действительно послана? А если я — человек, который всю жизнь провёл в пустоте, — если я, убив веру в себе, могу хотя бы пойти за ней и посмотреть, куда она ведёт?»

Он гнал эту мысль. Он гнал её, как гнал всегда, — и она возвращалась, тёплая и настойчивая, как весенний ручей, пробивающий себе путь сквозь тающий снег. Она возвращалась всякий раз с новым напором, с новым блеском, с новой надеждой — и Жилю, погруженному в темноту, становилось то страшно, то радостно, то страшно и радостно разом.

К утру он не принял решения. И всё же где-то, в самой глубине его, в том уголке, который он запер ещё в одиннадц

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.